

ет добродетель, лишает её ценности. Толстой не назвал свой идеал даже долгом объединения и не дал себе ни малейшего труда подумать о том, как привести в исполнение объединение, не позаботился о том, чтобы составить проект объединения, указать не на одну цель, но и на трудности и на средства к осуществлению. А между тем все имеют право спросить Толстого, что нужно делать, чтобы достигнуть братского объединения. Сказать только «не войой» оказывается недостаточным, — Толстой давно уже сказал это и Америка знает эту его заповедь⁸.

3. По поводу статьи Л. Толстого: «Не убий»

**Есть ли История — истребление, или История войн,
<т. е.> убийств со стороны властителей?**

В противоположность прокламации Толстого, мы должны признать убийство виною, грехом не других только, а самих себя, т. е. всеобщим, наследственным грехом, и всем в совокупности, в союзе, притом всеми своими силами и способностями, <надлежит> искупить грех — убийство — противоположною ему добродетелью.

Начало этому искуплению положено уже много веков тому назад, и до сих пор <оно> не подвинулось ни на один шаг, даже соединения для этого не совершилось, потому что и знание, и искусство человеческое и все силы их употребляются не для того, чтобы снять с себя тяжесть греха лишения жизни всех умерших поколений. Живём мы или для себя, или для других, для разных мелких дел, а не все в совокупности, все живущие, все сыны для одного всеобщего дела, которое только и может возратить ценность и обанкротившейся науке, и утратившему ценность искусству. Только когда наука станет знанием всех разумных существ, всех сынов умерших отцов, имея своим предметом самую силу рождающую и умерщвляющую, и Искусство также всех <будет> пользоваться этою силою, чтобы созидать не мёртвые подобию, а действительное воссозидание и оживление, <только тогда> эти Сверхнаука и Сверх-Искусство будут исполнительницами требований Супраморализма. Только наглость никогда не думавших об этих вопросах может говорить о невозможности этого единственного средства искупления всеобщего греха.

Итак, что значит толстовское — «Не убий»? Не признавая жестокости в действиях анархистов, а жертвы этих убийств находя *заслужившими* такую участь, даже еще худшую, согласно арифметическому расчету, как убийц тысяч и миллионов⁹, Толстой забывает о происхождении у нас власти Царской, власти карать и миловать. Толстой умалчивает о Владимире, который боялся казнить разбойников, о другом Владимире, который детям [завещал] не казнить неправого¹⁰. Тишайший из тишайших юноша Михаил, нельзя сказать, чтобы он был выбран, ибо выбора он не принял, а был *принужден* народом принять власть над страной разграбленной, разоренной, царством разрушенным, <и> с опасностью для жизни родного отца¹¹. — Толстой в своей прокламации, не говоря об искусственном происхождении государства, указывает на искусственный способ <его> уничтожения, призывая чиновников, служащих отказаться от службы, народ отказаться от платы податей и отправления воинской повинности, — <и> всё это называется непротивлением.

Этими заповедями *непротивления* (присоединяя к ним «не клянись») — Толстой, этот бывший рабовладелец, думает разрушить государство. Присвоив себе папскую власть, запрещающую давать клятвенное обещание повиновения власти, он даже разрешает от клятвы, говоря от имени Христа: «Не клянись». Затем, делая себя единственным представителем всего народа, этот самозванный депутат народа отказывает власти в праве сбора податей и набора войска, хотя <сам> народ принудил принять такую власть родоначальника царей русских. Наконец, ставя себя выше царской и конституционной власти, Толстой, говоря, или предписывая, — «Не судись», уничтожает судебную власть.

Конечно, Толстой не так глуп, чтобы думать, что его слово заставит всех отказаться от присяги, от платы податей, от всякой службы; но часть может принять его учение и действовать насильем на не признающих толстовского учения, т. е. произойдет усобица, резня, чего, конечно, и желает Толстой. Супраморализм <же> и супралегальность, как истинное христианство, предлагает к обязательным службе и налогу присоединить добровольные.

Нужно сопоставить с народным воззрением, так же, как и с Евангельским пониманием «Не убий», толстовское учение, чтобы понять всю его мерзость и гнусность. Мы все, осуждённые взаимно истреблять друг друга, должны быть названы, по выра-

жению русского народа, несчастными, а не преступниками. Несчастнее же всех из нас Цари, осуждённые разбирать наши дрязги, осуждённые карать, но и миловать, но о последнем Толстой умалчивает, — а потому <и> не могут быть названы, по выражению злого и испорченного ребёнка Толстого, убийцами. Точнее — по тому же народному воззрению — мы должны быть названы несовершеннолетними, Цари — дядьками, хотя в том же возрасте находящимися. Война, по такому воззрению русского народа, который разбой называет шалостями, будет шалостью, а потому только озлобленный, завистливый генерал (генерал от литературы¹², завидующий военным генералам) мог сказать, <что> заведывание войском есть «скверное и постыдное дело приготовления к убийствам»¹³.

Конечно, и война, и суд — зло, но зло взаимное, произведение народов и царей, но гораздо более дело народов, чем Царей. Но называя войну и суд убийством, Толстой не говорит о причинах этого и <о> средствах освобождения от этого зла, кроме, конечно, гипноза и разгипнотизирования¹⁴.

Сварливость испорченного ребёнка, одержимого духом разрушения, ясно видна из следующих фактов. Осмотрев выставку, Толстой сказал: «Динамитцу бы», — хотя эта промышленно-художественная <выставка> есть собрание игрушек, но очень даровитого, многообещающего ребёнка. В Библиотеке сказал: «Сжечь бы все эти книги», — хотя сам пользовался ими и, конечно, с преимуществом пред всеми другими читателями.

Больше всего Толстой ненавидит родину (Россию), столько же славян, несколько менее немцев и другие народы, кроме евреев, к коим, как врагам России, он выказывает любовь, которой в нём нет ни малейшего следа. Ещё менее — животных, поставляя «в благоговении к жизни животных» достоинство человека. Только к безжизненной слепой силе Толстой не питает ненависти. Ко всему умному, учёному он относится с дьявольской ненавистью и прославляет юродивых идиотов вроде «Таё»¹⁵. Почитает он только «ничто», считая не-бытие — благом, упрекая (как Шопенгауэр, Гартман) тех, которые видят зло в уничтожении. Если бы нужно было изобразить Толстого по Византийскому способу, изображая в лоне или недре <его> то, что наиболее ему дорого, подобно тому как Сына Человеческого и Божия изображаем, помещая в Его лоне Бога отцов, — что <дóлжно> поместить в недре проповедника злой нетовщины?

Революцию или *revolt*¹⁶, т. е. резню имеет целью произвести прокламация Толстого под видом пробуждения от гипноза, прокламация последнего эпигона революционной эпохи, стоящего во главе всех чающих взрыва? Позволяем себе из толстовской прокламации сделать вопрос и противопоставить ему другой: Взаимное истребление людьми друг друга и убийства власть имущих есть ли произведение гипноза каких-то злых колдунов, от которых может избавить нас всех добрый колдун Толстой своею прокламациею 8 августа?

Или же: Мы все — как орудия слепой естественной силы, — взаимно истребляя друг друга, гипнозом оправдываться не можем, а должны объединиться против неразумной силы природы для обращения её в управляемую разумом, и Циркуляр 12 августа не могли бы быть началом этого объединения, если бы он не был искажён юристами?

Первый вопрос — вопрос, конечно, <только> для нас, для приверженцев же Толстого — изречение Оракула, произнесённое в Ясной Поляне и обнародованное в Лондоне¹⁷ для распространения во всём мире и особенно в дорогом отечестве, в ненависти к которому Толстой не раз открыто высказывался. Это магическое слово «Не убий», поведенное миру 8 августа 1900 года, назначено, по словам Толстого, пробудить мир от гипноза и водворить мир, — вот заключение этого призыва, начатого, как всегда делает наш фарисей, множеством эпитафов из Библии, из Евангелия. Даже самоё заглавие <(«Не убий»)> почерпает наш архилицемер из того же священного источника*. Относительно 2-го эпитафа, что ученик не выше своего учителя¹⁸, можно сказать, что это изречение не касается русских студентов и гимназистов, которые, конечно, выше своих профессоров и учителей. Но это было сказано Толстым в 1900 году. В 1901 г., став во главу студентов¹⁹, этот наукоборец отверг бы этот текст.

«Так что не убивать надо Александров, Карно²⁰ и др., а надо разъяснить им то, что они сами убийцы» (это <разъяснить> тому Александру, которого народ принудил к войне, столь ему нежеланной, даже ненавистной ему, — что, конечно, известно бесстыдному лгуну Толстому), «не позволять им убивать людей» (<непозволяющим> прежде, конечно, нужно самим не убивать; сказать царям, чтобы они не убивали, может только тот, кто сам без греха, не только неповинен руками, но и чист сердцем²¹), «отказываться убивать по

* Даже самый фарисейский «Листок “Свободного слова”» носит на челе своем изречение «Не в силе Бог, а в правде»

их приказанию», т. е. не воевать, что и хотел сделать Николай II, за что и был обруган Толстым. Надо напомнить Толстому, что ему предлагался способ, никого не обвиняя, никому не вредя, обратить орудия истребления в орудия спасения от неурожаев и других бедствий. В письме своём на категорический вопрос: бросить ли надо оружие или употребить его на спасение от голода, — на этот существенный <вопрос>, с которым к нему обратились, Толстой промолчал, хотя согласился, <что> предлагаемый способ <обращения оружия на спасение> возможен²². Этим молчанием он убедил нас окончательно, что вовсе не жизнь человека ему дорога. Что бы он стал делать тогда со своим гипнозом, чем бы он стал мстить своим врагам?

«Если люди ещё не поступают так, — продолжает Толстой, — то происходит это только из того гипноза, в котором правительства из чувства самосохранения старательно держат их». (Как же это мы, загипнотизированные, не чувствуем на себе этого влияния и можем обсуждать вопрос об убийствах?) «А потому содействовать тому, чтобы люди перестали убивать и королей, и друг друга, можно не убийствами — убийства, напротив, усиливают гипноз, — а пробуждением от него». Как это «убийства усиливают гипноз»?!. Не значит ли это простые вещи объяснять мудрёными, непостижимыми! Не значит <ли> это дурачить всех или гипнотизировать? «Это самое я, — заканчивает Толстой, — и пытаюсь делать этой заметкой». Таким скромным именем называет Толстой свою прокламацию, которая под видом «Не убий» возбуждает к убийству, а под видом оправдания обвиняет <убиваемых>, выставляет <их> в таком виде, что они не могут не возбуждать ненависти, которая должна проявиться в убийствах.

Если проект умиротворения, представленный Толстым в его прокламации в немногих словах, но дышущих безумною злобою, перевести с его дьявольского языка на человеческий, то выражение «разъяснить царям, что они сами убийцы» <будет> значить, что они имеют войско, судей, администрацию или полицию; выражение «а главное, отказываться убивать по их приказанию» <значит — нужно> отказываться от воинской повинности, и «не позволять им убивать» <значит> уничтожить войско, суд, словом, уничтожить государство, ничем его не заменяя. Такое сопротивление и восстание против власти Толстой называет непротивлением. До такого бесстыдного лицемерия, насмешки над смыслом, конечно, ещё никто никогда не доходил. Найдётся ли хотя один настолько бесстыдный человек — кроме студентов или гимназистов, — который скажет,

что Царь может все эти веками созданные учреждения, имеющие корни свои в слепой силе природы, уничтожить в один миг, как требует колдун, гипнотизёр Толстой.

Сокрушаясь о малом числе убитых королей, президентов и др. сравнительно с убиваемыми на войнах во всём мире, Толстой вменяет <возбуждение войн> властителям и таким образом делает их убийцами тысяч, миллионов людей. Хотя он сам не верит в это, но знает, что такую ложью, таким словесным приёмом можно возбудить негодование у малоумных и полуумных и премногоумных студентов, ветеринаров и т. п. Нельзя не удивляться гражданскому мужеству Л. Н. Толстого, разумея, конечно, под гражданским мужеством проявление храбрости там, где нет никакой опасности.

Толстой говорит, что ему понятны чувства убийц Гумберта и др., вызванные страданиями порабощённого народа, он не понимает только побуждений тех добровольцев, которые шли умирать в Сербию; не понимает побуждений, которые вызвали войну 1877–78 гг., не понимает Плевненское побоище*. Уж, конечно, никто не скажет, чтобы пером Толстого руководила истина и желание добра.

Раз мы ему лично доложили, что видим в его публицистических сочинениях одно только желание зла²³. Этот доклад почтительный он принял за брань, за поругание, поношение, гонения, и очень радовался и веселился, сам причисляя себя к лику мучеников.

Говоря об убийстве в ветхозаветном смысле, Толстой забывает об убийстве в новозаветном смысле, о котором говорится в Нагорной проповеди, особенно им превозносимой. В этом смысле, в самом глубоком смысле, все вредящие словом и делом суть убийцы, но убийцы не в одинаковой [степени.]²⁴

Что почувствуете <вы> к людям, о которых вам говорят, что «всё воспитание их, все занятия, всё сосредоточено на одном: на изучении прежних убийств» (т. е. Истории, но История не была бы истинною, была бы ложью, если бы скрывала эти убийства), «наилучших способов убийств в наше время, наилучших приготовлений к убийствам. С детских лет они учатся убийству во всех возможных формах, всегда носят при себе орудия убийств»²⁵. — Орудием убийства может быть и язык, который Толстой всегда носит с собою, и до сих пор ещё не было изобретено орудия более

* [Эту войну] менее всех желал тот, кого Толстой винит за плевненских мертвых.

истребительного, чем язык. К каким самоубийствам и убийствам не приводил он!

Конечно, Толстой хорошо знает, что власть есть сдерживающая сила, и что как бы властители ни злоупотребляли своею властью, тем не менее устранение этой власти произвело бы в миллионы раз больше зла.

Сравните Циркуляр 12 августа Николая II го и прокламацию Толстого 8 августа и увидите, что циркуляр произошёл из детского чистого чувства (детским его называет и сам Толстой) и потому уже лживым быть не может²⁶; и если его нельзя назвать глубокомысленным, то только потому, что <в нём> есть подражание Толстому и г же Суттнер. Тогда как прокламация <Толстого> уже, конечно, не из детского чувства вытекла. Назвать прокламацию Толстого детскою значило бы осквернить святое слово дитя. Прокламацию Толстого должно бы назвать ребяческою глупостью, если бы она не была лицемерно-лживою.

Читая прокламацию этого фарисея, обвиняющего царей в спеси, можно подумать, что <сам Толстой> родился в вертепе, что ясли были его колыбелью, что он не имел всю жизнь, где главы преклонить. Этот человек, надевший поношенный полушубок, смеет упрекать кого-либо в роскоши! Ему ли завидовать тем, кои окружены атмосферою лжи и подбострастия! И более умная и честная голова, чем у Толстого, не устояла бы против расточаемой ему лести. Но аппетит к лести растёт вместе с её увеличением. Судя по прокламации, можно подумать, что кроме унижения, поношения, поругания Толстой ничего не видал, с такою озлобленною завистью он говорит о восторженных приветствиях Царям. Разумный человек, очутившийся на месте Толстого, конечно, старался бы избегать этих оваций, а он, как известно, ищет их. Надо ожидать, что Чертков назначит большую премию, или всё своё богатство обратит в премию, тому, кто напишет [первое слово неразб.] панегирик Толстому. Мы знаем, как хвалы, расточаемые Скобелеву²⁷, возмущали этого завистника, любителя лести, который всякую похвалу другому, а не ему и его приверженцам принимает за оскорбление*. Кто не за него, тот против него, — что мы видели и испытывали на себе и не раз. <...>

1893–1898

